

«Господа юнкера, кем вы были вчера...»

Отрывки из воспоминаний писателя Серебряного века Бориса Зайцева (1881-1972) — московского юнкера в дни февральских событий 1917 года*

Летом 1916 года Борис Зайцев был призван в армию и зачислен в московское Александровское военное училище юнкером второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Здесь и застала его Февральская революция. А уже летом 1917 года в двух номерах журнала «Народоправство» (№ 1, с. 7-9; № 2, с. 5-7) вышли его очерки о юнкерах, неожиданно ощутивших себя «солдатами Революции».

В нашем сознании слово «юнкер» ассоциируется с безусым юношей, но Зайцеву в описываемое время было 36 лет, он был состоявшимся, признанным художником слова, его воспоминания — это впечатления зрелого и наблюдательного человека. Тем и интересны они для современного читателя.

Алексей Любомудров, доктор филологических наук



«Градначальник летел в бездну»

28 февраля, около трех часов дня, было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской — в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге — военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза прекратил работу. Волнений среди нас не было. Москва имела еще вид обыденный, и мы сами не вышли из обыденных забот: срисовать друг у друга съемку, поскорей удрать в отпуск.

На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем — градначальник¹. Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Ли-

° 1

Б.К. Зайцев в форме прапорщика 192-го запасного пехотного полка с женой и дочерью. Москва, 1917 г.

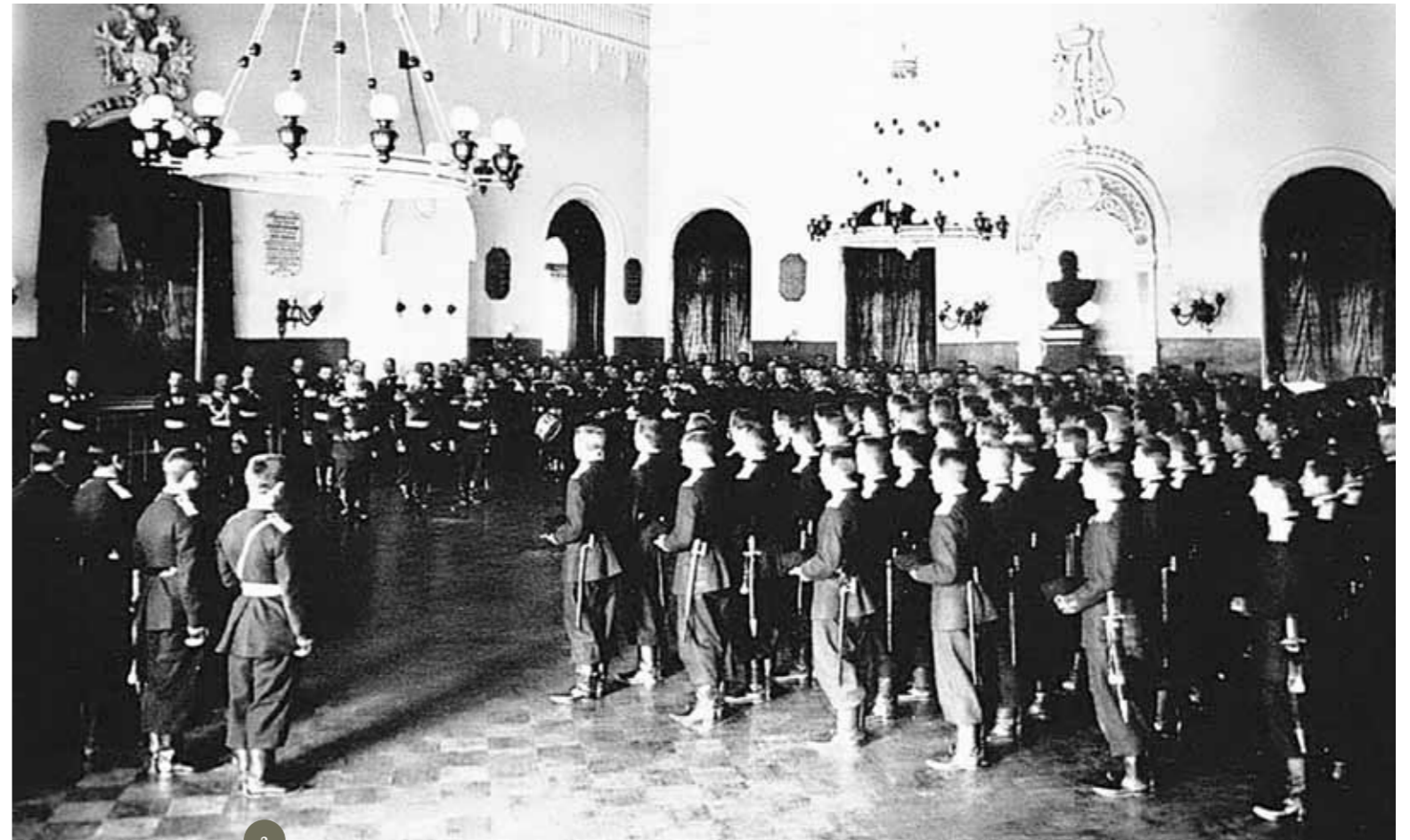
цо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «Да, началось». Градначальник на своем красном автомобиле пронесился в последний раз. Он летел в бездну, и об этом читалось на его лице. Однако в этот день мы покойно содрали друг у друга съемку, обедали в четыре, отдыхали до пяти с половиной; как всегда ревели труба в половине шестого, мы слезали с кровати и начинали юнкерский весенний вечер — малую, бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале, где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату: ее играл «бывший человек», ныне в военной куртке с белыми погонами, такой же эмигрант из мира живых, как и мы.

Звуки Бетховена в казармах горьки. Так же, быть может, как туманный и пустынный месяц над квадратным плацем, где днем мы упражняемся во взводных учениях; как блеск дивного Ориона, когда вечером «взводными рядами» ведут тебя в баню.

И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили юного моего друга². Я узнал об этом 1 марта утром.

«Братцы, помните, не стрелять!»

В четвертом часу, когда мы собирались в своей роте — роскошном зале с полукругом колонн — идти на обед, вдруг забил барабан. И как ветер пронеслось среди нас: тревога. Это именно она и была. В несколько минут мы выстроились в шинелях, с подсумками, винтовками. Вышли офицеры в походном снаряжении. Все были бледны. «Куда нас ведут?» — спрашивали мы. Они ничего не знали. «Сейчас будут раздавать патроны».



Принесли патроны, поднялась сутолока, стали рвать пакки, прилаживая их в подсумки, спрашивали друг у друга о пустяках, но было видно, что ужасное, поднышающее над нами, пред каждой душой стоит во весь рост. «Неужели стрелять?» Офицер опять пожал плечами: «Ничего неизвестно. Сейчас осадное положение. Вы знаете, что бывает за отказ подчиняться?» — «Все равно, стрелять не будем». Офицер отошел. Это лучшее, что мог он сделать, ибо за один такой ответ из строя должен был быть арестован.

«Не стрелять, не стрелять», — шептали по шеренге. «Братцы, — вскрикнул высокий чухоточный юнкер, — держитесь, помните, ребята, не стрелять». Прошли слухи, что уж выехали пулеметы наши, лазаретная линейка, обоз, что третья рота выступила. Бледный юнкер, командир



1-го отделения, говорил: «Меня первого. Я на правом фланге». Ему сказали, что заколют офицера, который подымет на него руку.

Так говорили, но никто не знал, что будет. Разве можно поручиться за всех? Кто уверен, что на роту не нашлось бы десятка слабых? Мы чувствовали себя на грани непоправимого.

Мне этих минут не забыть. Помню, сиделось солнце. Маленькая церковь, видная из окон роты, мирно в свете сияла. Голубел кусок неба. Я оперился на винтовку, прислонив лоб к холодному штыку. Умирать мне не хотелось. Покоен я не был. Но все-таки умереть так, как следует, я мог. Я одно знал наверно, что не допущу позора и не пойду ни на какое дело, с ним связанное.

Мы простояли так полчаса. Потом велели нам снять шинели, положить винтовки с подсумками и папахами на кровати, — идти обедать. Но по первому зову быть готовыми.

Так обедали мы 1 марта 1917 года в те часы, когда решилась революция в Москве. Был взят Манеж, Арсенал. Именно в эти минуты стояли революционные войска (очень малочисленные) пред Думой и Манежем и тоже ждали, когда же мы на них пойдем. И многие бородачи там, как юнцы у нас, тоже думали о конце, ибо нас было больше, у нас отличное вооружение, пулеметы, бомбометы, молодость и проч. Но судьбе не угодно было так повернуть дело.

° 2

Юнкера-александровцы на построении в зале училища.

° 3

Генерал-лейтенант Н.И. Геништа, начальник Александровского училища.

° 4

Александровское военное училище.

Мы вернулись в роту, сидели на кроватях со своими винтовками, с тяжелыми сомнениями, но уже в лучшем состоянии: мы больше сговорились, к нам пришли из других рот, и оказалось, что настроение везде приблизительно равное: не на кого было опереться старому порядку.

Я, кажется, все же отлично спал в ту ночь. За темными огромными окнами была Москва с пустынными улицами, где произошли уже невиданные дела. Последний день старого ушел вместе с тем солнцем, что освещало церковь, что кровавило столовую. Утром мы встали в другом государстве. Внизу у окна была толпа, колыхались красные флаги. В газете, которую торжественно читали вслух, в курилке, среди тумана папирос, черным по белому стояло: «Падение старой власти». Мы обнимались. У многих были слезы.

Началось то, что называют новой жизнью.

«Я оскорблен вашими аплодисментами»

В одиннадцать утра собрали нас в зал. Пришел генерал³ — сухим бодрым шагом. Ему поставили стол, он влез на него — и, верно, в первый раз в жизни, открыл речь в такой обстановке. Было ясно, что ночь он не спал. Но вид имел еще военный, обычный. Он говорил резко, почти пронзительно. Сказал, что вчера нас не вывел, несмотря на приказ начальника охраны. По его объяснению выходило, что он — человек очень гуманный и тонкий; мы же поняли, что потому нас не водили, что к тому времени пал Манеж и Арсенал. Он заявил, что после долгих размышлений решил ехать представляться новому командующему войсками⁴.

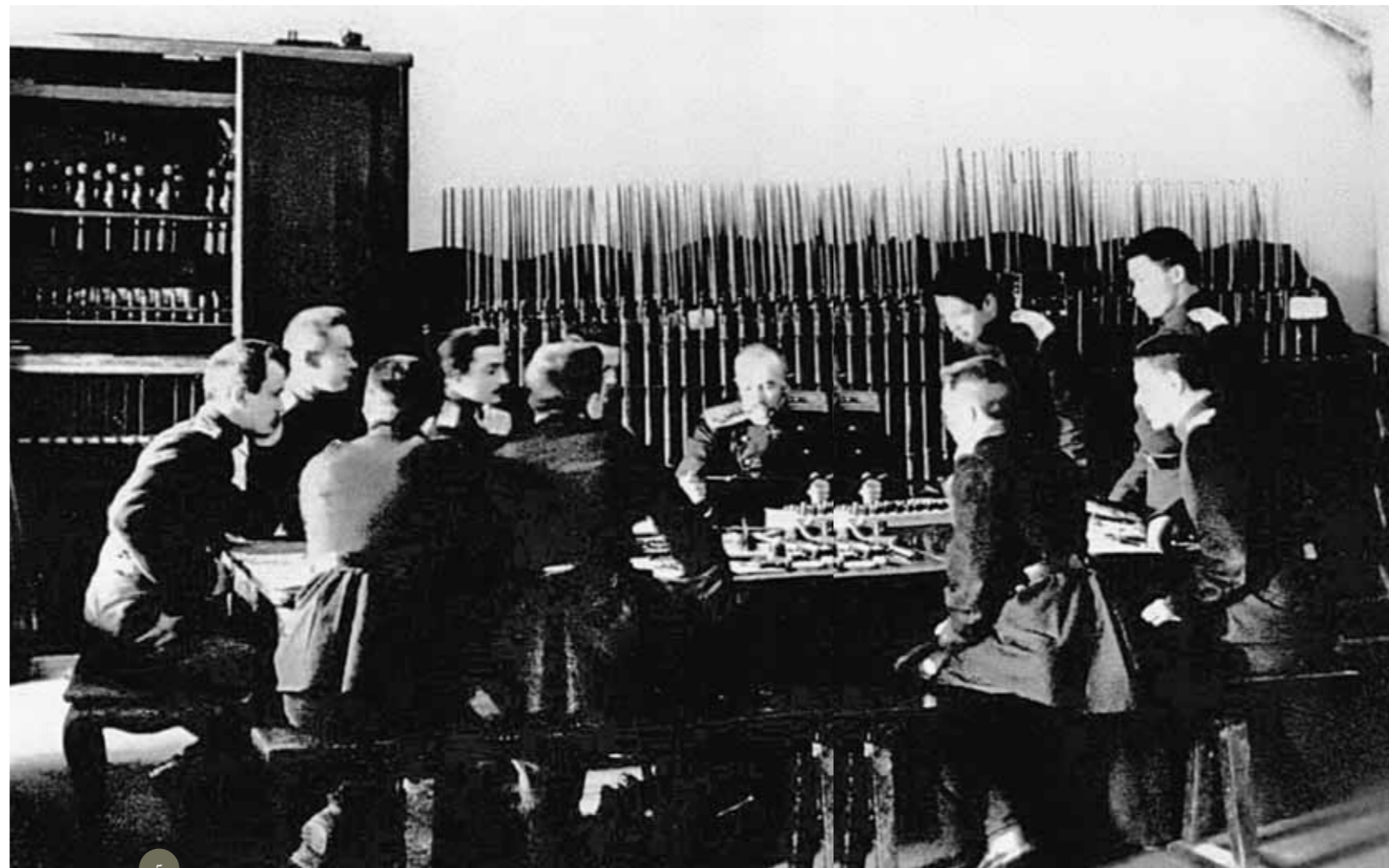
Мы зааплодировали. Генерал вдруг рассердился. Прежнее, «военное» сверкнуло в его маленьких острых глазах.

— Я оскорблен вашими аплодисментами.

Он — наш начальник, а не митинговый оратор. Начальникам не аплодируют. На заявление о том, что и мы хотим пройти Училищем по городу, с музыкой и знаменем, он ответил, что узнает об этом у командующего войсками: «Если это будет удобно, я вас сам поведу».

Он уехал. Мы остались. По улицам все время проходили группы — солдатские папахи, барышни с красными значками, простой народ. Мы все же, делая вид, что соблюдаем дисциплину, маршировали во дворе. Оставшиеся в роте выкинули в толпе красные флаги. Снизу спросили обо мне. Товарищ выставил плакат: «Жив».

Как нередко, думаю, бывает в этих случаях, вдруг явилась у нас мысль: генерал нас обманывает. Может, вовсе он не был у командующего; может, вовсе тот не говорил, чтоб мы сидели дома. Мысль эта как быстро зародилась, так же обнеслась по всему огромному зданию. Здесь видел я зарождение мятежа, того, что называется восстанием. Дело это состоит в том, что каким-то электричеством пронизываются



души; психический ток, пробежав по ним, поворачивает всех их в одну сторону, как бы раскрывает их туда; следующий момент — воли сливаются, и уж тогда идет одна волна, с которой нельзя бороться.

Такой же ветер пронесся по ротам; вдруг по длинным чинным коридорам забегали юнкера, из рот высыпали кучки; кто-то крикнул:

с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину. «Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, — выкрикнул патетически полковник, — и вы за мной пойдете?».

Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:



«одеваться!». В несколько минут все у нас было в шинелях. И я бежал, на ходу застегивая пояс с подсумком. Встреченный офицер с дрожащим от волнения лицом крикнул мне: «Кто вам позволил одеваться?» Наверно, в таком же искажении и я ответил: «А кто мне запретил!» — и уже меня не было, мелькали другие, кто в папаче, кто хватаясь за винтовку. Везде творилось то же самое. Своему ротному мы объяснили, чего хотим. Мы к нему хорошо относились. Он горячо убеждал не брать винтовок. Мы колебались. Мимо по коридору тяжелым мерным шагом проходила рота. В это время сообщили, что приехал помощник командующего войсками. Он просит нас в сборный зал. Построившись, мы тронулись.

«Мы считали, что присягнули революции»

В огромном зале юнкера выстроились в каре, с пустотой посредине. Сумрачный день кончился. Взад и вперед ходил под люстрой бритый полковник — в форме военного юриста. Первый представитель революционной власти. Мы очень волновались. Когда утихли, полковник начал: «Господа, старое правительство свергнуто...» Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал. Затем

— Можно, если вы хотите принести нам вред.

Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность пороть еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело. Начинать темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т.е. в дурном нас не могут теперь заподозрить. Мы расстались дружелюбно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся.

Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту — возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы — опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества — ныне «мы военные», nous autres militaires⁵ — Революции.

«Пленных не брать!»

Москва была глубоко-пустынна. Снег чудесно пел под ногами. Большой Лев сиял над памятником Гоголю. Рота шла легко, возбужденно, в том нервном подъеме, когда, думаю, ничто не остановило бы ее от атаки.

° 5
Занятия оружейным делом.

° 6
Чистка оружия.

° 7
Спальня.

На Арбатской площади горели костры. «Прага» была темна. Зато у штаба в «Художественном электротелеграфе» — все в свету, стоят конные разезды, автомобили, грузовики с солдатами. Улицы Москвы безмолвны. Пронесется разезд, автомобиль прохрипит. Кажется, что в этой морозной тьме что-то замышляют, кроются враги; говорят, наша двенадцатая рота уже пошла брать «Унион». Там будто бы засели с пулеметами. Мы же — «резерв».

В строгом порядке мы прошли через вестибюль в зрительный зал. Был он полон света — и солдат. Тут стояла полурота 251-го полка и рота школы прапорщиков. Солдаты, юнкера сидят дремали; винтовки торчали вверх штыками. Было накурено. Пахло военными. Мы прошли, тоже сели.

Мы сидели, курили, выходили в комнаты, где работал штаб, — там машинки стучали, нам казалось, что делается какое-то спешное дело, днем и ночью, для спасения России. Здесь, через час-другой по нашему приходу, прошло из уст в уста известие: «Наши взяли «Унион». Юнкера школы прапорщиков важно говорили: «Александровцы взяли «Унион». Скоро появилась весть, что даже «ходили в штыки», есть потери, взяты пулеметы. Я вспомнил, что ведь я — «старший в звене». Надо знать команды. Неужели правда, через полчаса их придется применять? Я прорепетировал с нашим взводным, оказалось — плохо помню.



8

8

Нагрудный знак Александровского военного училища после Февральской революции 1917 г.

9

Увольнение в город.



9

И у меня было странное чувство, что вот я готовлюсь к охоте на людей, к уничтожению их по правилам военной науки.

Все, что рассказывали о двенадцатой роте, оказалось, понятно, вздором; но в ту романтическую ночь в «революционном» штабе, на который из глубины бессветных улиц Москвы кто-то злоумышлял, — все было хорошо. Некоторые из наших, даже очень мирные, так воодушевились, что сам я слышал разговоры: если идти



10

на черную сотню, то пленных не брать. Подумай, ветераны Брусилова!

К четырем часам все наши притомились; многие клевали носом, другие спали откровенно, откинувшись на спинки кресел. Машинки в штабе попримолкли. Становилось ясно, что до войны далеко.

На другой день мы спали вволю, с сознанием исполненного долга. А затем нас пустили в отпуск. В три часа дня, когда с товарищем я выходил, на улицах было шумно, оживленно; Арбатская площадь вся кишела людьми. Зная, что это мальчишество, я не удержался все же и зашел в магазин за красной ленточкой. Барышня прикрепила мне и товарищу красные бантики. Полные впечатлений, возбужденные, почти веселые, мы разошлись.

«В его лице всех вас целую, товарищи...»

Рота выбрала меня делегатом; с этого дня получил я привилегию: в то время как товарищи проделывали «ротное ученье» или еще какую прелесть, я мог заседать, с глубокомысленным видом решать вопросы училищной жизни в маленьком классе под парикмахер-

го солдата, который положил голову на барьер и плакал.

Когда командующий войсками кончил, встал бородач, какой-нибудь воронежский «дядя», землероб, и сказал: «Господин командующий, благодарим вас за добрые слова. Кланяюсь вам земно, господин командующий». И как сидел у прохода, тут же опустился на землю, зарыдал. Немолодой мужик, наверно, выдавший виды, он лежал и плакал, от волнения не мог больше ничего сказать. И, должно быть, правда, впервые услышал он от начальства слова ласковые, «добрые». Очень он по ним стосковался. Его речь была самая сильная из слышанных мною.

«Мне отдавали честь...»

За несколько дней до выпуска мы чувствовали себя барами: ничего не делали, мечтательно валялись по кроватям, непрерывно уходили в отпуск и примеряли — то шинели, то фуражки. В той же зале, где мы присягали новому правительству, нас и произвели⁶. Разумеется, командующий войсками говорил речь, а мы орали «ура». Так уж заведено. И вечером, получив деньги, документы, попрощавшись друг с другом надолго, если не навсегда, со скромными прапорщичьи-ми сундучками мы разъехались — кто куда.

Помню, был теплый серый вечер. Извозчик быстро гнал по Знаменскому переулку. Мне отдавали честь встречные солдаты. Было такое чувство, будто мне не тридцать шесть, а семнадцать, и только что я кончил гимназию, в первый раз еду свободным человеком. А куда и что ждет — неведомо.

** Материал подготовлен при поддержке РГНФ (проект № 15-04-00102).*

ской. Мне пришлось тогда бывать в Совете солдатских депутатов в качестве члена его. Видел я море солдатских папах, шинелей, бородатых лиц, бойких вольноопределяющихся из евреев и представителей «окопов» — людей действительно выдавших виды. Все они получили возможность говорить.

Серое человечество долго молчало; много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей — и однажды проснулось свободнейшим из человечеств. Говорить захотелось. Косолапо, нечленораздельно заговорили. Но все казалось мало. Бесконечно подымались на трибуну Политехнического музея «товарищи», десятки раз повторялись, с наивностью утверждали общеизвестное, но так и быть должно, ибо ведь в первый раз, впервые! О своих, кровных, мучительных делах.

Были и трогательные минуты. Приехал командующий войсками. Говорил он вещи нехитрые. Потом вызвал к себе на эстраду солдата и поцеловал. «В его лице всех вас целую, товарищи». Я сидел довольно высоко. Среди грома рукоплесканий чувствовалось, как взволнованы солдаты. В дальнейшем во время речи многие сморкались. Обернувшись назад, я увидел рыже-

10

Парад революционных войск в Москве в марте 1917 г., в котором принимали участие юнкера-александровцы. Командовал парадом начальник училища генерал-лейтенант Н.И. Геништа (в центре на коне). Справа от него (в темной папаче) — полковник А.Е. Грузинов, принимавший парад.

¹ С февраля 1916 по апрель 1917 г. должность московского градоначальника занимал Вадим Николаевич Шебеко (1864-1943).

² Племянник Зайцева Юрий Михайлович Буйневич (1894-1917), молодой офицер Лейб-гвардии Измайловского полка в Петрограде. 27 февраля, в первый день революции, был дежурным по полку, преградил дорогу толпе, ворвавшейся во двор казармы, на предложение сдаться ответил отказом и был убит на месте.

³ Начальником Александровского училища с 1908 по август 1917 г. был генерал-лейтенант Николай

Иванович Геништа (1865-1932). После Октябрьской революции вступил в ряды Красной армии, преподавал в советских высших военно-учебных заведениях.

⁴ Имеется в виду полковник Александр Евграфович Грузинов (1873-?), которого военный министр А.И. Гучков назначил командующим войсками Московского военного округа.

⁵ Мы, военные (фр.)

⁶ В апреле 1917 г. Б. Зайцев был произведен в прапорщики 192-го запасного пехотного полка Московского гарнизона.